



ВЛАДИМИР  
НАБОКОВ

*Подвиг*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Владимир Набоков

**Подвиг**

«Азбука-Аттикус»

## **Набоков В. В.**

Подвиг / В. В. Набоков — «Азбука-Аттикус», — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-03890-5

«Подвиг» (1930, опубл. 1931–1932) – четвертый русский роман Владимира Набокова – рассказывает историю молодого русского эмигранта с швейцарскими корнями и экзотическим именем Мартын Эдельвейс, волею судьбы оказавшегося на чужбине. Жизненный путь героя книги пролегает едва ли не через всю Европу, отчасти совпадая с эмигрантскими маршрутами автора и заставляя вспомнить старинное значение слова «подвиг» – путешествие, странствие, движение. Оказываясь попеременно в Греции, Англии, Германии, Франции и Швейцарии, Мартын упорно ищет себя – в творчестве, в труде, в любви, в спорте, в разнообразных проверках собственной смелости, – а в финале романа решается на бессмысленно-героическое, жертвенное деяние, вступая на стезю истинного подвига: он отвергает возможность легального возвращения в Россию и тайно, с риском для жизни, переходит русскую границу, исчезая в таинственном сумраке лесной тропы.

ISBN 978-5-389-03890-5

© Набоков В. В.  
© Азбука-Аттикус

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| I                                 | 5  |
| II                                | 7  |
| III                               | 9  |
| IV                                | 12 |
| V                                 | 14 |
| VI                                | 16 |
| VII                               | 18 |
| VIII                              | 20 |
| IX                                | 22 |
| X                                 | 26 |
| XII[4]                            | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 32 |

# Владимир Набоков

## Подвиг

*Посвящаю моей жене*

### I

Эдельвейс, дед Мартына, был, как это ни смешно, швейцарец, – рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятых годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери. Мартын сперва полагал, что именно в честь деда назван бархатно-белый альпийский цветок, баловень гербариев. Вовсе отказаться от этого он и позже не мог. Деда он помнил ясно, но только в одном виде, в одном положении: старик, весь в белом, толстый, светлоусый, в панамской шляпе, в пикейном жилете, богатом брелочками (из которых самый занимательный – кинжал с ноготок), сидит на скамье перед домом, в подвижной тени липы. На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы, с крышкой как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и стрелка, по семейному преданию, остановилась вместе с его сердцем. Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме; в его время снимали со вкусом, с расстановкой, это была операция нешуточная, пациент должен был замереть надолго, – еще не пришло, вместе с моментальной фотографией, разрешение на улыбку. Сложностью светописа объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз на бледноватых, но очень добротных фотографиях, – дедушка в молодости, с ружьем, с убитым вальдшнепом у ног, дедушка на кобыле Дэзи, дедушка на полосатой верандовой лавке, с черной таксой, не хотевшей сидеть смиренно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в тысяча девятьсот восемнадцатом году дедушка Эдельвейс исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую, по глупости, спалили целиком, вместо того чтобы пожитья обстановкой, мужички из ближней деревни.

Отец Мартына врачевал кожные болезни, был знаменит, – тоже, как и дед, бел и тучен, любил в свободное время удить бычков и обладал великолепной коллекцией кинжалов, сабель, а также длинных старинных пистолетов, из-за которых приверженцы более новых систем чуть его не расстреляли. Весной восемнадцатого года он отяжелел, распух, стал задыхаться и умер при неясных обстоятельствах. Его жена, Софья Дмитриевна, жила в то время с сыном под Ялтой: городок примерял то одну власть, то другую, и все привередничал.

Это была розовая, веснушчатая, моложавая женщина, с копной бледных волос, с приподнятыми бровями, густоватыми у переносицы, но почти незаметными поближе к вискам, и со щелками в удлинённых мочках нежных ушей, которые прежде она пронимала сережками. Еще недавно она сильно и ловко играла в теннис на площадке в парке, существовавшей с восьмидесятых годов, осенью много каталась на черном велосипеде «Энфильд» по аллеям, по шумно шуршащим коврам сухих листьев, или отмахивала пешком по упругой обочине весь длинный, с детства любимый путь между Ольховым и Воскресенским, поднимая и опуская, как заправский ходок, конец дорогой трости с коралловым набалдашником. В Петербурге она слыла англomanкой и славу эту любила, красноречиво говорила о бойскаутах, о Киплинге и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях Дрюса, где, уже на лестнице, перед большой рекламой (женщина, сочно намазывающая голову мальчишке), приветствовал вас замечательный запах мыла, лаванды, с примесью еще чего-то, говорившего о резиновых ваннах, футбольных мячах и круглых, тяжеленьких, туго спеленутых рождественских пудингах. И разумеется, первые книги Мартына были на английском языке: Софья Дмитриевна как

чумы боялась «Задуманного Слова» и внушила сыну такое отвращение к титулованным смуглянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канапе. Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говаривал: «У мальчугана опять кашелек, посмотрим, нет ли температурки». Русская же литература для детей кишмя кишела сюсюкающими словами или же грешила другим – нравоучительством.

Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия бабки, волшебным происхождением разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных, относилась к русской сказочной фауне. Дивные звери рыскали некогда по нашей земле. Но русскую сказку Софья Дмитриевна находила аляповатой, злой и убогой, русскую песню – бессмысленной, русскую загадку – дурацкой и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. Таким образом, Мартын в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование, но очарований было и так вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Ерусланом, а западным братом Еруслана было в детстве разбужено его воображение. Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движения.

## II

Над маленькой, узкой кроватью, с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах (в грубоватой прорези фольги – лаково-коричневый святой, а малиновый плюш на исподе подъеден не то молью, не то самим Мартыном), висела на светлой стене акварельная картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним, – и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая: «Что же, ты думаешь, случилось дальше?» – был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке: по его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала, и потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном (сначала коротенькая молитва по-английски – «Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребенка», – а затем «Отче Наш» по-славянски, причем какого-то Якова мы оставляли должникам нашим), быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку – что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка, – Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излучки тропинки, пересеченной там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей.

Бабушка Эдельвейс, рожденная Индрикова, ревностно занимаясь акварелью во дни молодости, вряд ли предвидела, когда мешала на фарфоровой палитре синенькую краску с желтенькой, что в этой рождающейся зелени будет когда-нибудь плутать ее внук. Волнение, которое Мартын узнал и которое с той поры, в различных проявлениях и сочетаниях, всегда уже сопровождало его жизни, было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нем развить, – хотя сама бы затруднилась подыскать этому чувству название, – знала только, что нужно каждый вечер питать Мартына тем, чем ее самое питала когда-то покойная гувернантка, старая, мудрая госпожа Брук, сын которой собирал орхидеи на Борнео, летал на аэростате над Сахарой, а погиб от взрыва котла в турецкой бане. Она читала, и Мартын слушал, стоя в кресле на коленях и облокотясь на стол, и было очень трудно кончить, увести его спать, он все просил еще и еще. Иногда она носила его по лестнице в спальню на спине, и это называлось «дровосек». Перед сном он получал из жестяной коробки, оклеенной голубой бумагой, английский бисквит. Сверху были замечательные сорта с сахарными нашлепками, поглубже – печенья имбирные, кокосовые, а в грустный вечер, когда он доходил до дна, приходилось довольствоваться третьеклассной породой – простой и пресной.

И все шло Мартыну впрок – и хрустящее английское печенье, и приключения Артуровых рыцарей, – та сладкая минута, когда юноша, племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок; и какие-то далекие, круглые острова, на которые смотрит с берега девушка в развевающихся одеждах, держащая на кисти сокола в клубочке; и Синдбад, в красном платке, с золотым кольцом в ухе; и морской змий, зелеными шинами торчащий из воды до самого горизонта; и ребенок, нашедший место, где конец радуги уткнулся в землю; – и как отголосок всего этого, как чем-то родственный образ – чудесная модель длинного фанерно-коричневого вагона в окне общества спальных вагонов и великих международных экспрессов, – на Невском проспекте, в тусклый

морозный день с легкой заметью, когда приходится носить черные вязаные рейтузы поверх чулок и штанишек.

### III

Она любила его ревниво, дико, до какой-то душевной хрипоты, – и когда она с ним, после размолвки с мужем, поселилась отдельно и Мартын по воскресеньям посещал квартиру отца, где подолгу возился с пистолетами и кинжалами, меж тем как отец спокойно читал газету и, не поднимая головы, изредка отвечал: «Да, заряженный» или: «Да, отравленный», Софья Дмитриевна едва могла усидеть дома, мучась вздорной мыслью, что ее ленивый муж нет-нет да и предпримет что-нибудь – удержит сына при себе. Мартын же был с отцом очень ласков и учтив, стараясь по возможности смягчить наказание, ибо считал, что отец удален из дому за провинность, за то, что как-то на даче, летним вечером, сделал нечто такое с роялем, отчего тот издал совершенно потрясающий звук, словно ему наступили на хвост, – и на другой день отец уехал в Петербург и больше не возвращался. Это было как раз в год, когда убили в сарае австрийского герцога, – Мартын очень живо представил себе этот сарай, с хомутами по стене, и герцога в шляпе с плюмажем, отражающего шпагой человек пять заговорщиков в черных плащах, и огорчился, когда выяснилась ошибка. Удар по клавишам произошел без него, – он в комнате рядом чистил зубы густо пенящейся, сладкой на вкус пастой, которая была особенно привлекательна следующей надписью по-английски: «Улучшить пасту мы не могли, а потому улучшили тубочку», – и действительно отверстие было щелью, так что выжимаемая паста ложилась на щетку не червячком, а ленточкой.

Последний разговор с мужем Софья Дмитриевна вспомнила полностью, со всеми подробностями и оттенками, в тот день, когда пришло в Ялту известие о его смерти. Муж сидел у плетеного столика, осматривал кончики коротких, растопыренных пальцев, и она ему говорила, что так нельзя дальше, что они давно чужие друг другу, что она готова хоть завтра забрать сына и уехать. Муж лениво улыбался и хриловатым, тихим голосом отвечал, что она права, увы, права, и говорил, что он уедет отсюда сам, да и в городе снимет отдельную квартиру. Его тихий голос, мирная полнота, а пуще всего – пилочка, которой он во всякое время терзал мягкие ногти, выводили ее из себя, – и ей казалось, что есть чудовищное в том спокойствии, с которым они оба рассуждают о разлуке, хотя бурные речи и слезы были бы, конечно, еще ужаснее. Погодя он поднялся и, пиля ногти, принялся ходить взад и вперед по комнате, и с мягкой улыбкой говорил о житейских мелочах будущей розной жизни (нелепую роль играла при этом карета), – и вдруг, ни с того ни с сего, проходя мимо открытого рояля, двинул со всей силы сжатым кулаком по клавишам, и это было словно в раскрывшуюся на миг дверь ворвался нестройный вопль; после чего он прежним тихим голосом продолжал прерванную фразу, а проходя опять мимо рояля, осторожно его прикрыл.

Смерть отца, которого он любил мало, потрясла Мартына именно потому, что он не любил его как следует, а кроме того, он не мог отделаться от мысли, что отец умер в немилости. Тогда-то Мартын впервые понял, что человеческая жизнь идет излучинами, и что вот, первый плес пройден, и что жизнь повернулась в ту минуту, когда мать позвала его из кипарисовой аллеи на веранду и сказала странным голосом: «Я получила письмо от Зиланова», – а потом продолжала по-английски: «Я хочу, чтоб ты был храбрым, очень храбрым, это о твоём отце, его больше нет». Мартын побледнел и растерянно улыбнулся, а затем долго блуждал по Воронцовскому парку, повторяя изредка детское прозвание, которое когда-то дал отцу, и стараясь представить себе, – и с какой-то теплой и томной убедительностью себе представляя, – что отец его рядом, спереди, позади, вот за этим кедром, вон на том покато лугу, близко, далеко, повсюду.

Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушмулой жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводя пунцовым, словно накрашенным клювом. С миндальных деревьев облетели лепестки и лежали, бледные, на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в прянике. Невдалеке от огромных ливанских кед-

ров росла одна-единственная березка с тем особым наклоном листвы (словно расчесывала волосы, спустила пряди с одной стороны, да так и застыла), какой бывает только у берез. Проплыла бабочка-парусник, вытянув и сложив свои ласточковые хвосты. Сверкающий воздух, тени кипарисов – старых, с рыжинкой, с мелкими шишками, спрятанными за пазухой, – зеркально-черная вода бассейна, где вокруг лебедя расходились круги, сияющая синева, где вздымался, широко опоясанный каракулевой хвоей, зубчатый Ай-Петри, – все было насыщено мучительным блаженством, и Мартыну казалось, что в распределении этих теней и блеска тайным образом участвует его отец.

«Если бы тебе было не пятнадцать, а двадцать лет, – вечером того дня говорила Софья Дмитриевна, – если бы гимназию ты уже кончил и если бы меня уже не было на свете, ты бы, конечно, мог, ты, пожалуй, был бы обязан...» Она задумалась посреди слов, представив себе какую-то степь, каких-то всадников в папахах и стараясь издали узнать среди них Мартына. Но он, слава Богу, стоял рядом, в открытой рубашке, под гребенку остриженный, коричневый от солнца, со светлыми, незагоревшими лучиками у глаз. «А ехать в Петербург...» – вопросительно произнесла она, и на неизвестной станции разорвался снаряд, паровоз встал на дыбы... «Вероятно, это все когда-нибудь кончится, – сказала она спустя минуту. – Пока же надо придумать что-нибудь». – «Я пойду выкупаюсь, – примирительно вставил Мартын. – Там Коля, Лида, все». – «Конечно, походи, – сказала Софья Дмитриевна. – В общем, революция пройдет, и будет странно вспоминать, и ты очень поправился в Крыму. И в ялтинской гимназии как-нибудь доучишься. Посмотри, как там хорошо освещено, правда?»

Ночью оба, и мать и сын, не могли уснуть и думали о смерти. Софья Дмитриевна, стараясь думать тихо, то есть не всхлипывать и не вздыхать (дверь в комнату сына была полуоткрыта), опять вспоминала, подробно и шепетильно, все то, что привело к разрыву с мужем, и, проверяя каждое мгновение, она ясно видела, что тогда-то и тогда-то нельзя было ей поступить иначе, и все-таки таилась где-то ошибка, и все-таки, если бы они не расстались, он не умер бы так, один, в пустой комнате, задыхающийся, беспомощный, вспоминающий, быть может, последний год их счастья (не ахти какого счастья) и последнюю заграничную поездку, Биарриц, прогулку на Круа-де-Мугер, галерейки Байонны. Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божиим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести «Петя», «Ваня», меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже – прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, – но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, нелюбимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна хотя и повторяла слова молитв, родных ей с детства, на самом же деле напрягала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-тремя хорошими воспоминаниями, – сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь все то, что непонятно, – поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, о чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты посмертную нежность. Он думал об отце всей силой души, производил даже некоторые опыты, говорил себе: если вот сейчас скрипнет половица или что-то стукнет, значит, он меня слышит и отвечает... Делалось страшно ждать стука, было душно и тягостно, шумело море, тонко пели комары. А то вдруг он с совершенной ясностью видел полное лицо отца, его пенснэ, светлые волосы бобриком, круглый родимый прыщ у ноздри и блестящее, из двух золотых змеек, кольцо вокруг узла галстука, – а когда он наконец

уснул, то увидел, что сидит в классе, не знает урока, и Лида, почесывая ногу, говорит ему, что грузины не едят мороженого.

## IV

Ни Лиде, ни ее брату он не сообщил о смерти отца, – потому не сообщил, что вряд ли бы удалось выговорить это естественно, а сказать с чувством было бы непристойно. Сызмала мать учила его, что выражать вслух на людях глубокое переживание, которое тотчас на вольном воздухе выветривается, линяет и странным образом делается схожим с подобным же переживанием другого, – не только вульгарно, но и грех против чувства. Она не терпела надгробных лент с серебряными посвящениями «Юному Герою» или «Нашей Незабвенной Дочурке» и порицала тех чинных, но чувствительных людей, которые, потеряв близкого, считают возможным публично исходить слезами, однако в другое время, в день удач, распираемые счастьем, никогда не позволяют себе расхохотаться в лицо прохожим. Однажды, когда Мартыну было лет восемь, он попытался наголо остричь мохнатую дворовую собачку и нечаянно порезал ей ухо. Стесняясь почему-то объяснить, что он, отхватив лишние лохмы, собирался выкрасить ее под тигра, Мартын встретил негодование матери стоическим молчанием. Она велела ему спустить штаны и лечь ничком. В полном молчании он сделал это, и в полном же молчании она его отстегала желтым стеклом из бычьей жилы; после чего он подтянул штаны, и она помогла ему пристегнуть их к лифчику, так как он это делал криво. Мартын ушел в парк и только там дал себе волю, тихо извыв душу, заедая слезы черникой, а Софья Дмитриевна тем временем разливалась у себя в спальне и вечером едва не заплакала вновь, когда Мартын, очень веселый и пухлый, сидел в ванне, подталкивая целлулоидового лебедя, а потом встал, чтобы дать себе намылить спину, и она увидела на нежных частях ярко-розовые полосы. Экзекуция такого рода произведена была всего раз, и конечно, Софья Дмитриевна никогда не замахивалась на него по всякому пустяковому поводу, как это делают француженки и немки.

Рано научившись сдерживать слезы и не показывать чувств, Мартын в гимназии поражал учителей своей бесчувственностью. Сам же он вскоре открыл в себе черту, которую следовало особенно ревниво скрывать, и в пятнадцать лет, в Крыму, это служило причиной некоторого мучения. Мартын заметил, что иногда он так боится показаться немужественным, прослыть трусом, что с ним происходит как раз то, что произошло бы с трусом, кровь отливает от лица, в ногах дрожь, туго бьется сердце. Признавшись себе, что подлинного, врожденного хладнокровия у него нет, он все же твердо решил всегда поступать так, как поступил бы на его месте человек отважный. При этом самолюбие было у него развито чрезвычайно. Коля, Лидии брат, был одних с ним лет, но худосочен и мал ростом. Мартын чувствовал, что без особого труда положил бы его на лопатки. Однако его так нервил возможность случайного поражения и с такой отвратительной яркостью он его себе представлял, что ни разу не попробовал вступить с Колей, с однолетком, в борьбу, но зато охотно принимал вызов Владимира Иваныча, двадцатилетнего корнета с мускулами как булыжники, через полгода убитого под Мелитополем, который жестоко мял его, ломал и после изнурительной возни придавливал его наконец, красного и ослабленного, к траве. А то случилось раз, что Мартын возвращался домой из Адреиза, где жила Лидина семья, ночью, летней крымской ночью, местами иссиня-черной от кипарисов, местами же бледной как мел от неживой белизны татарских стен против луны, и вдруг на повороте узкой кремнистой дороги, ведущей на шоссе, выросла перед ним фигура человека и густой голос спросил: «Кто идет?» Мартын с досадой отметил, что сердце забилось часто. «Э, да это – Умерахмет», – грозно сказал человек и слегка придвинулся сквозь рваную черную тень, скользнувшую по его лицу. «Нет, – сказал Мартын. – Пропустите, пожалуйста». – «А я говорю, что Умерахмет», – тихо, но еще грознее, повторил тот, и тут Мартын заметил при вспышке луны, что у него в руке крупный револьвер. «А ну-ка, становись к стенке», – проговорил человек, сменив угрозу на примирительную деловитость. Бледную руку с черным револьвером поглотила набежавшая тень, но точка блеска осталась на том же месте. Мартыну пред-

ставлялись две возможности, – первая: добиться разъяснения, вторая: шарахнуть в темноту и бежать. «Мне кажется, вы меня принимаете за другого», – неловко выговорил он и назвал себя. «К стенке, к стенке», – дискантом крикнул человек. «Тут никакой стенки нет», – сказал Мартын. «Я подожду, пока будет», – загадочно заметил человек и, хрустнув камушками, не то опустился на корточки, не то присел, – в темноте было не разглядеть. Мартын все стоял, чувствуя как бы легкий зуд по всей левой стороне груди, куда, должно быть, метил невидимый теперь ствол. «Если двинешься, убью», – совсем тихо сказал человек и еще что-то добавил, неразборчивое. Мартын постоял, постоял, мучительно пытаясь придумать, что сделал бы на его месте безоружный смельчак, ничего не придумал и вдруг спросил: «Не хотите ли папиросу, у меня есть?» Он не знал, почему это вырвалось, ему сразу стало стыдно, особенно потому, что его предложение осталось без ответа. И тогда Мартын решил, что единственное, чем он может искупить стыдное слово, это прямо пойти на человека, повалить его, буде нужно, но пройти. Он подумал о завтрашнем пикнике, о залитых ровным рыже-золотым загаром, словно лаком, Лидиных ногах, представил себе, что, может быть, отец ждет его в эту ночь, может быть, делает кое-какие приготовления к встрече, и почувствовал к нему странную неприязнь, за которую впоследствии долго себя корил. Шумело и через одинаковые промежутки бухало море, заводным звонким стрепетом подгоняли друг друга кузнечики, а этот болван в темноте... Мартын заметил, что прикрывает ладонью сердце, и, в последний раз назвав себя трусом, резко двинулся вперед. И ничего не случилось. Он споткнулся о ногу человека, и тот ее не убрал. Сгорбясь, опустив голову, человек сидел, тихо похрапывая, и сытно, густо несло от него винищем.

Благополучно добравшись до дому, выспавшись и выйдя утром на увитый глициниями балкон, Мартын пожалел, что не обезоружил пьяного шатуна: отнятым револьвером он бы мог загадочно похвастать. Он остался собой недоволен, оказавшись, по собственному мнению, не совсем на высоте при встрече с давно желанной опасностью. Сколько раз на большой дороге своей мечты он, в бауте и сапогах с раструбами, останавливал то дилижанс, то грузный дормез, то всадника, и дукаты купцов раздавал нищим. В бытность свою капитаном на пиратском корвете он, стоя спиной к грот-мачте, один отбивал напор бунтующего экипажа. Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона, и, найдя его наконец – в диком лесу, в безымянной области, – он к нему подходил с учтивым поклоном, шеголяя сдержанностью. Он бежал с каторги через тропические топи, он шел к полюсу мимо удивленных, торчком стоявших пингвинов, он на взмыленном коне, с шашкой наголо, первым врвался в мятежную Москву. И уже Мартын ловил себя на том, что задним числом прихорашивает нелепое и довольно плоское ночное происшествие, столь же похожее на подлинную жизнь, которой он жил в мечтах, сколь похож бессвязный сон на цельную и полновесную действительность. И как иногда бывает, что, рассказывая виденный сон, мы невольно кое-что сглаживаем, округляем, подкрашиваем, чтобы поднять его хотя бы до уровня нелепости реальной, возможной, точно так же Мартын, репетируя рассказ о ночной встрече (который, однако, оглашать он не собирался), делал встречного более трезвым, револьвер его более действенным и собственные слова – более остроумными.

## V

И в следующие дни, перекидываясь с Колей футбольным мячом или выискивая с Лидой в прибрежном галечнике мелкие морские курьезы (круглый камушек в цветном пояске, маленькую, зернисто-рыжую от ржавчины подкову, отшлифованные морем бледно-зеленые осколки бутылочного стекла, напоминавшие ему раннее детство, пляж в Биаррице), Мартын дивился ночному происшествию, сомневался, было ли оно, и все прочнее продвигал его в ту область, где пускало корни и начинало жить чудесной и самостоятельной жизнью все, что он выбирал из мира на потребу души. Нарастала, закипала пеной и кругло опрокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке, и, не удержавшись, соскальзывала назад при глухом бормотании разбуженных камушков, и не успевала втянуться, как уже новая, с тем же круглым, веселым плеском, опрокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела, положенного ей. Коля подальше зашвыривал найденную дощечку, и фокстерьер Лэди, поднимая враз передние лапы, прыгал по воде и напряженно пускался вплавь. Его подхватывала очередная волна, мощно несла и затем в полной сохранности выкладывала на берег, и фокстерьер, уронив перед собой отобранную у моря дощечку, круто отряхивался. Лида, – купавшаяся только по утрам, спозаранку, вместе с матерью и Софьей Дмитриевной, – отходила налево, к скалам (прозванным ею «Айвазовскими»), пока купались мальчики: Коля плавал по-татарски, кувырком, а Мартын гордился быстрым и правильным кролем, которому его научил англичанин-гувернер в последнее лето на севере. Ни тот, ни другой мальчик, впрочем, далеко не уплывал, – и одной из самых сладостных и жутких грез Мартына была темная ночь в пустом, бурном море, после крушения корабля, – ни зги не видать, и он один, поддерживающий над водой креолку, с которой накануне танцевал танго на палубе. После купания было удивительно приятно нагишом лечь на раскаленные камни и смотреть, запрокинув голову, на черные кинжалы кипарисов, глубоко вдвинутые в небо. Коля, сын ялтинского доктора, проживший всю жизнь в Крыму, принимал эти кипарисы, и восторженное небо, и дивно-синее, в ослепительных чешуйках, море как нечто должное, обиходное, и было трудно завлечь его в любимые Мартыновы игры и превратить его в мужа креолки, случайно выброшенного на тот же необитаемый остров.

Вечером поднимались узкими кипарисовыми коридорами в Адреиз, и большая нелепая дача со многими лесенками, переходами, галереями, так забавно построенная, что порой никак нельзя было установить, в каком этаже находишься, ибо, поднявшись по каким-нибудь крутым ступеням, ты вдруг оказывался не в мезонине, а на террасе сада, – уже была пронизана желтым керосиновым светом, и с главной веранды слышались голоса, звон посуды. Лида переходила в лагерь взрослых, Коля, нажравшись, сразу заваливался спать; Мартын сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни, прислушивался к веселым освещенным голосам, к хохоту Владимира Иваныча, к Лидиной уютной болтовне, к спору между ее отцом и художником Данилевским, говорливым заикой. Гостей вообще бывало много – смешливые барышни в ярких платках, офицеры из Ялты и панические пожилые соседи, уходившие скопом в горы при зимнем нашествии красных. Было всегда неясно, кто кого привел, кто с кем дружен, но хлебосольство Лидиной матери, неприметной женщины в горжетке и в очках, не знало предела. Так появился однажды и Аркадий Петрович Зарянский, долговязый, мертвенно-бледный человек, имевший какое-то смутное отношение к сцене, один из тех несуразных людей, которые разъезжают по фронтам с мелодекламацией, устраивают спектакли накануне разгрома городка, бегут покупать погоны и никак не могут добежать, и возвращаются, радостно запыхавшись, с чудесно добытым цилиндром для последнего действия «Мечты Любви». Он был лысоват, с прекрасным, напористым профилем, но, повернувшись прямо, оказывался менее благообразным: под болотцами глаз набухали мешочки, и не хватало одного резца. Человек же он был мягкий, добродушный, чувствительный и, когда по ночам все выходили гулять, пел бархатным баритоном

«Ты помнишь ли – у моря мы сидели...» или рассказывал в темноте армянский анекдот, и кто-нибудь в темноте смеялся. В первый раз встретив его, Мартын с изумлением и даже с некоторым ужасом признал в нем забуддыгу, приглашавшего его стать к стенке, но Зарянский, по-видимому, ничего не помнил, так что осталось неясным, кто такой Умерахмет. Пьяницей был Аркадий Петрович отменным и бушевал во хмелю, – но револьвер, который однажды снова возник – во время пикника на Яйле, в стрекотливую ночь, пропитанную лунным светом и мускат-люнелем, – оказался с пустым барабаном. Зарянский еще долго вскрикивал, грозил, бормотал, говоря о какой-то своей роковой любви, его покрыли шинелью, и он уснул. Лида сидела близко к костру и, подперев ладонями лицо, блестящими, пляшущими, румяно-карими от огня глазами глядела на вырвавшиеся искры. Погодя Мартын встал, разминая ноги, и, взойдя по черному муравчатому скату, подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней – как будто близкое, как будто приподнятое море с цареградской стезей посередине, лунной стезей, суживающейся к горизонту. Слева, во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался, то видел поодаль огненное беспокойное гнездо костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросающую сук. Стрекотали кузнечики, по временам несло сладкой хвойной гарью, – и над черной Яйлой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое от звезд небо было головокружительно, и Мартын вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве, – невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить.

## VI

Эта искристая стезя в море так же заманивала, как некогда тропинка в написанном лесу, – а собранные в кучу огни Ялты среди широкой черноты неведомого состава и свойства напоминали опять же кое-что, виденное в детстве: девятилетний Мартын, в одной рубашке, с похолодевшими пятками, стоял на коленках у вагонного окна; южный экспресс шел по Франции. Софья Дмитриевна, уложив сына, сидела с мужем в вагоне-ресторане, горничная мертвым сном спала на верхней койке; в узком отделении было темно, только просвечивал синий задвижной колпак лампы; качалась его кисть, потрескивало в стенках. Выйдя из-под простыни, добравшись по одеялу до окна, наполовину срезанного концом верхней койки, и подняв кожаную сторку, – для чего пришлось отстегнуть ее с кнопки, а тогда она гладко поехала вверх, – Мартын зяб, ощущал ломоту в коленках, но не мог оторваться от окна, за которым косогами бежала ночь. И тогда-то он вдруг увидел то, что теперь вспомнил на Яйле, – горсть огней вдалеке, в подоле мрака, между двух черных холмов: огни то скрывались, то показывались опять, и потом заиграли совсем в другой стороне, и вдруг исчезли, словно их кто-то накрыл черным платком. Вскоре поезд затормозил и остановился во мраке. Стали доноситься странно бесплотные вагонные звуки, чей-то бубнящий голос, чей-то кашель, потом прошел по коридору голос матери, и, сообразив, что родители возвращаются из вагона-ресторана и по дороге в смежное отделение могут к нему заглянуть, Мартын проворно метнулся в постель. Поезд двинулся, но вскоре стал окончательно, издав длинный, тихо свистящий вздох облегчения, причем по темному купэ медленно прошли бледные полосы света. Мартын снова пополз к стеклу, и был за окном освещенный дебаркадер, и с глухим стуком человек катил мимо железную тачку, а на ней был ящик с таинственной надписью «Fragile»<sup>1</sup>. Мошки и одна большущая бабочка кружились вокруг газового фонаря; смутно шаркали по платформе, переговариваясь на ходу о неизвестном, какие-то люди; и затем поезд лязгнул буферами и поплыл, – прошли и ушли фонари, появился и тоже прошел ярко озаренный снутри стеклянный домик с рядом рычагов, – качнуло, поезд перебрал рельсы, и все потемнело за окном, – опять бегущая ночь. И снова, откуда ни возмись, уже не между двух холмов, а как-то гораздо ближе и осязательнее, повысыпали знакомые огни, и паровоз так томительно, так заунывно свистнул, что казалось, и ему жаль расстаться с ними. Тут сильно хлопнуло что-то, и проскочил встречный поезд, проскочил, и как будто его и не было вовсе, – опять бежала волнистая чернота, и медленно редели неуловимые огни.

Когда они навсегда закатились, Мартын укрепил сторку и лег, а проснулся очень рано, и ему показалось, что поезд идет плавнее, развязнее, словно приноровился к быстрому бегу. И когда он сторку отстегнул, то почувствовал мгновенное головокружение, ибо в другую сторону, чем накануне, бежала земля, и ранний пепельно-бледный свет ясного неба тоже был неожиданный, и совершенно были внове террасы олив по склонам.

Со станции поехали в Биарриц в наемном ландо, пыльной дорогой, окаймленной пыльной ежевикой, и так как ежевику Мартын видел впервые, а станция почему-то звалась Негри-тянкой, он был полон вопросов. В пятнадцать лет он сравнивал крымское море с морем в Биаррице: да, бискайские волны были выше, прибой сильнее, – и толстый беньер-баск в черном, всегда мокром трико («гибельная профессия», – говорил отец) брал Мартына за руку, вел его в мелкую воду, затем оба поворачивались спиной к прибою, и с грохотом налетала сзади огромная волна, потопляя и опрокидывая весь мир. На первой, зеркальной полосе пляжа буролицая женщина с седыми завитками на подбородке встречала выкупавшихся, накидывала им на плечи мохнатые простыни, а дальше, в пахнувшей смолой кабинке, служитель помо-

<sup>1</sup> «Хрупкое» (фр.).

гал сдернуть липкий костюм и приносил шайку горячей воды, почти кипятка, куда полагалось погрузить ноги. Затем, одевшись, сидели на пляже, – мать в большой белой шляпе, под белым нарядным зонтиком, отец тоже под зонтиком, но мужским, изабеллового цвета; Мартын же, в завороченных до паха штанишках, полосатой фуфайке и загорелой соломенной шляпе с английской надписью на ленте вокруг тульи (Его Величества «Непобедимый»), строил из песка крепость, окруженную рвами. Проходил вафельник в берете, со скрежетом вертел ручьяткой красного жестяного бочонка с товаром, и большие, гнутые куски вафли, смешанные с летучим песком и морской солью, остались одним из живейших воспоминаний той поры. А за пляжем, на каменной променаде, заливаемой в непогоду волной, бойкая, немолодая, нарумяненная цветочница продевала гвоздику в петлицу отцовского белого пиджака, и отец при этом смешно и добродушно смотрел на процедуру продевания, выпятив нижнюю губу и прижав наморщенный подбородок к отвороту. Было жалко покинуть в конце сентября веселое море и белую виллу с корявой смоковницей в саду, все не хотевшей дать хоть один зрелый плод. На обратном пути остановились месяца на полтора в Берлине, где по асфальтовым мостовым с треском прокатывали мальчишки на роликах, – а иногда даже взрослый с портфелем под мышкой. И были изумительные игрушечные магазины (локомотивы, туннели, виадуки), и теннис за городом, на Курфюрстендаме, и звездная ночь «Винтергартена», и поездка в сосновые леса Шарлоттенбурга свежим и ясным днем в белом электрическом таксомоторе. На границе Мартын спохватился, что забыл в вагоне вставочку со стеклышком, в котором, ежели приложить глаз, вспыхивал перламутрово-синий пейзаж, а во время обеда на вокзале (рябчики с брусникой) проводник ее принес, и отец дал ему рубль. В Вержболове было снежно, морозно, на тендере вздымалась целая гора дров, багровый русский паровоз был снабжен расчистным веером, обильный белый пар, клубясь, выливался из огромной трубы с широким развалом. Норд-Экспресс, обрусев в Вержболове, сохранил коричневую облицовку, но стал по-новому степенным, широкобоким, жарко отопленным, и не сразу давал полный ход, а долго раскачивался после остановки. В голубом коридоре было очень приятно примоститься на откидном сиденье у окна, и мимоходом погладил Мартына по голове толстый зобатый проводник в шоколадном мундире. За окном тянулись белые поля, кое-где над снегом торчали ветлы; у шлагбаума стояла женщина в валенках, с зеленым флагом в руке; мужик, соскочив с дровней, закрывал рукавицами глаза пятывшейся лошаденке. А ночью было нечто особенное: мимо черного зеркального стекла пролетали тысячи искр огненным стрельчатым росчерком.

## VII

Вот с того года Мартын страстно полюбил поезда, путешествия, дальние огни, и раздрающие вопли паровозов в темноте ночи, и яркие паноптикумы мгновенных полустанков, с людьми, которых не увидишь больше никогда. Медленный отвал, скрежет рулевой цепи, нутряная дрожь канадского грузового парохода, на котором он с матерью весной девятнадцатого года покинул Крым, ненастное море и косо хлещущий дождь – не столь располагали к дорожному волнению, как экспресс, и только очень постепенно Мартын проникся этим новым очарованием. В макинтоше, в черно-белом шарфе вокруг шеи, всюду сопровождаемая, пока его не одолело море, бледным мужем, растрепанная молодая дама, дуя на волосы, щекодавщие ей лицо, расхаживала по палубе, и в ее фигуре, в летающем шарфе Мартын почувствовал все то драгоценное, дорожное, чем некогда его пленяли клетчатая кепка и замшевые перчатки, надеваемые отцом в вагоне, или крокодиловой кожи сумка на ремешке через плечо у девочки-француженки, с которой было так весело рыскать по длинному коридору экспресса, вправленному в летучий ландшафт. Одна только эта молодая дама выглядела примерной путешественницей, – не то что остальные люди, которых согласился взять на борт, чтобы не возвращаться порожняком, капитан этого легкомысленно зафрахтованного судна, не нашедшего в одичалом Крыму товара. Несмотря на обилие багажа, безобразного, спешно собранного, с веревками вместо ремней, было почему-то впечатление, что все эти люди уезжают налегке, случайно; формула дальних странствий не могла вместить их растерянность и уныние, – они словно бежали от смертельной опасности. Мартына как-то мало тревожило, что оно так и есть, что вон тот спекулянт с пепельным лицом и с каратами в нательном поясе, останься он на берегу, был бы и впрямь убит первым же красноармейцем, лакомым до алмазных потрохов. И берег России, отступивший в дождевую муть так сдержанно, так просто, без единого знака, который бы намекал на сверхъестественную продолжительность разлуки, Мартын проводил почти равнодушным взглядом, и только когда все исчезло в тумане, он вдруг с жадностью вспомнил Адреиз, кипарисы, добродушный дом, жители которого отвечали на удивленные вопросы неусидчивых соседей: «Да где ж нам жить, как не в Крыму?» И воспоминание о Лиде окрашено было иначе, чем тогдашние, действительные их отношения: он вспоминал, как однажды, когда она жаловалась на комариный укус и чесала покрасневшее сквозь загар место на икре, он хотел показать ей, как нужно сделать ногтем крест на вздутии от укуса, а она его ударила по кисти, ни с того ни с сего. И прощальное посещение он вспомнил, – когда они оба не знали, о чем говорить, и почему-то всё говорили о Коле, ушедшем в Ялту за покупками, и какое это было облегчение, когда он наконец пришел. Длинное, нежное лицо Лиды, в котором было что-то ланье, теперь являлось Мартыну с некоторой назойливостью. И, лежа на кушетке под тикающими часами в каюте капитана, с которым он очень подружился, или в благоговейном молчании разделяя вахту первого помощника, оспой выщербленного канадца, говорившего редко и с особенным жеваным произношением, но обдавшего сердце Мартына таинственным холодком, когда он однажды ему сообщил, что старые моряки на покое все равно никогда не садятся, внуки сидят, а дед ходит, море остается в ногах, – привыкая ко всему этому морскому новоселью, к маслянистым запахам, к качке, к разнообразным и странным сортам хлеба, из которых один был вроде просфоры, Мартын все уверял себя, что он пустился в странствие с горя, отпевает несчастную любовь, но что, глядя на его спокойное, уже обветренное лицо, никто не угадает его переживаний. Возникли таинственные, замечательные люди: был канадец, зафрахтовавший судно, угрюмый пуританин, чей макинтош висел в капитанской, безнадежно испорченной уборной, маяча прямо над доской; был второй помощник, по фамилии Паткин, еврей родом из Одессы, смутно вспоминая сквозь американскую речь очертания русских слов; а среди матросов был один Сильвио, американский испанец, ходивший всегда босиком и носивший при себе кинжал. Капи-

тан однажды появился с ободранной рукой, говорил сперва, что это сделала кошка, но затем Мартыну по дружбе поведал, что рассадил ее о зубы Сильвио, которого ударил за пьянство на борту. Так Мартын приобщался к морю. Сложность, архитектурность корабля, все эти ступени, и закоулки, и откидные дверцы вскоре выдали ему свои тайны, и потом уже было трудно найти закоулок, еще незнакомый. Меж тем дама в полосатом шарфе, как будто разделяя Мартынову любознательность, мелькала в самых неожиданных местах, всегда растрепанная, всегда смотрящая вдаль, и уже на второй день ее муж слег, мотался на клеенчатой лавке в кают-компании, без воротничка, а на другой лавке лежала Софья Дмитриевна, с долькой лимона в губах. По временам и Мартын чувствовал сосущую пустоту под ложечкой и какую-то общую неустойчивость, – дама же была неугомонна, и Мартын уже наметил ее объектом для спасения в случае беды. Но несмотря на бурное море, корабль благополучно достиг константинопольского рейда на холодном, молочно-пасмурном рассвете, и появился вдруг на палубе мокрый турок, и Паткин, считавший, что карантин должен быть обоюдный, кричал на него: «Я тебя утону!» – и даже грозил револьвером. Через день двинулись дальше, в Мраморное море, и ничего от Босфора в памяти у Мартына не осталось, кроме трех-четырех минаретов, похожих в тумане на фабричные трубы, да голоса дамы в макинтоше, которая сама с собой говорила вслух, глядя на пасмурный берег; прислушавшись, Мартын различил слово «аметистовый», но решил, что ошибся.

## VIII

После Константинополя небо прояснилось, хотя море осталось «очень чоппи», как выразился Паткин. Софья Дмитриевна дерзнула выбраться на палубу, но тотчас вернулась в кают-компанию, говоря, что ничего нет в мире отвратительнее этого рабского падения и восхождения всех внутренностей по мере восхождения и падения корабельного носа. Муж дамы стонал, спрашивал Бога, когда это кончится, и поспешно, дрожащими руками, хватал тазок. Мартын, которого мать держала за кисть, чувствовал, что ежели он сейчас не уйдет, то стошнит и его. В это время вошла, мотнув шарфом, дама, обратилась к мужу с сочувственным вопросом, и муж, молча, не открывая глаз, сделал разрезательный жест ладонью по кадыку, и тогда она задала тот же вопрос Софье Дмитриевне, которая страдальчески улыбнулась. «И вы тоже, кажется, сдали, – сказала дама, строго взглянув на Мартына, и, качнувшись, перебросив через плечо конец шарфа, вышла. Мартын последовал за ней, и ему полегчало, когда пахнул в лицо свежий ветер и открылось ярко-синее, в барашках, море. Она сидела на скрученных канатах и писала в маленькой сафьяновой книжке. Про нее на днях кто-то из пассажиров сказал, что «бабец невретен», и Мартын, вспыхнув, обернулся, но, среди нескольких унылых пожилых господ в поднятых воротниках, не разобрал нахала. И теперь, глядя на ее красные губы, которые она все облизывала, быстро виляя карандашиком по странице, он смешался, не знал, о чем говорить, и чувствовал на губах соленый вкус. Она писала и как будто не замечала его. Меж тем чистое, круглое лицо Мартына, его неполных семнадцать лет, известная ладность всего его очерка и движений – что встречается часто у русских, но сходит почему-то за «что-то английское», – вот этот самый Мартын в желтом мохнатом пальто с пояском произвел на даму некоторое впечатление.

Ей было двадцать пять лет, ее звали Аллой, она писала стихи, – три вещи, которые, казалось бы, не могут не сделать женщины пленительной. Ее любимыми поэтами были Поль Жеральди и Виктор Гофман; ее же собственные стихи, такие звучные, такие пряные, всегда обращались к мужчине на «вы» и сверкали красными, как кровь, рубинами. Одно из них недавно пользовалось чрезвычайным успехом в петербургском свете. Начиналось оно так:

На пурпуре шелков, под пологом амбирным,  
Он всю меня ласкал, впиваясь ртом вампирным,  
А завтра мы умрем, сгоревшие дотла,  
Смешаются с песком красивые тела.

Дамы списывали его друг у дружки, его заучивали наизусть и декламировали, а один гардемарин даже написал на него музыку. Выйдя замуж в восемнадцать лет, она два года с лишним оставалась мужу верна, но мир кругом был насыщен рубиновым угаром греха, бритые, напористые мужчины назначали собственное самоубийство на семь часов вечера в четверг, на полночь в сочельник, на три часа утра под окнами, – эти даты путались, трудно было повсюду поспеть. По ней томился один из великих князей; в продолжение месяца докучал ей телефонными звонками Распутин. И она иногда говорила, что ее жизнь – только легкий дым папиросы «Режи», надушенной амброй.

Всего этого Мартын совершенно не понял. Стихами ее он был несколько озадачен. Когда он сказал, что Константинополь вовсе не аметистовый, Алла возразила, что он лишен поэтического воображения, и, по приезде в Афины, подарила ему «Песни Билитис», дешевое издание, иллюстрированное фигурами голых подростков, и читала ему вслух, выразительно пронося французские слова, под вечер, на Акрополе, на самом, так сказать, подходящем месте. В ее разговоре Мартыну главным образом нравилась влажная манера произносить букву «р»,

словно была не одна буква, а целая галерея, да еще с отражением в воде. И вместо всяких французских Билитис, петербургских белых, гитарных ночей, грешных сонетов в пять дактилических строф, он ухитрился найти в этой даме с трудно усваиваемым именем совсем другое, совсем другое. Знакомство, незаметно начавшееся на пароходе, продолжалось в Греции, на берегу моря, в одной из белых фалерских гостиниц. Софье Дмитриевне с сыном достался прескверный крохотный номер, – единственное окно выходило в пыльный двор, и там, на расвете, со всякими мучительными приготовлениями, с предварительным похлопыванием крыл и другими звуками, хрипло и бодро начинал кричать молодой алектор. Мартын спал на твердой синей кушетке, кровать же Софьи Дмитриевны была узкая, шаткая, с ухабистым матрацем. Из насекомых жила в комнате только одна блоха, зато очень ловкая, прожорливая и совершенно неуловимая. Алла, которой посчастливилось устроиться в отличном номере с двумя кроватями, предложила взять Софью Дмитриевну к себе, а мужа перекинуть к Мартыну. Софья Дмитриевна, сказав несколько раз кряду: да что вы, да что вы, – охотно согласилась, и в тот же день состоялось перемещение. Черносвитов, большой, долговязый, мрачный, заполнил собой всю комнатку; его кровь, по-видимому, сразу отравила блоху, ибо она больше не появлялась; его вещи, – принадлежности для бритвы, зеркальце с трещиной поперек, одеколон, кисточка, которую он всегда забывал сполоснуть и которая стояла весь день, проклеенная серой, остывшей пеной, на подоконнике, на столе, на стуле, – удручали Мартына, и особенно было тяжело по вечерам, когда, ложась спать, он принужден был очищать свою, Мартынову, кушетку от каких-то галстуков и нательных сеток. Раздеваясь, Черносвитов вяло почесывался, во все небо зевал; затем, поставив громадную, босую ногу на край стула и запустив пятерню в волосы, замирал в этой неудобной позе, – после чего медленно приходил опять в движение, заводил часы, ложился, долго, с кряхтением, уминал телом матрац. Через некоторое время, уже в темноте, раздавался его голос, всегда одна и та же фраза: «Главное, молодой человек, прошу вас не портить воздух». Бреясь по утрам, он неизменно говорил: «Мазь для лица „Прыщемор“. В вашем возрасте необходимо». Одеваясь, выбирая из носков предпочтительно те, в коих дырка приходилась не на пятку, а на большой палец, – залог невидимости, – он восклицал: «Эх, были когда-то и мы рысаками», и посвистывал сквозь зубы. Все это было очень однообразно и не смешно. Мартын вежливо улыбался.

Некоторым утешением, однако, служило сознание риска. В любую ночь могло случиться, что в предательском сне он отчетливо назовет полногласное имя, в любую ночь доведенный до крайности муж мог подкрасться с наточенной бритвой. Черносвитов, впрочем, употреблял безопасную бритву: с этим снарядиком он обращался так же неряшливо, как с кисточкой, и в пепельнице всегда лежал ржавый клинок с окаменевшей каемкой пены, черноватой от волосков. Его мрачность, его плоские поговорки мнились Мартыну доказательством глубокой, но сдержанной ревности. На весь день уезжая по делам в Афины, он не мог не подозревать, что его жена проводит время наедине с тем добродушным, спокойным, но выдавшим виды молодым человеком, каким воображал себя Мартын.

## IX

Было очень тепло, очень пыльно. В кофейнях подавали крохотную чашку со сладкой черной бурдой в придачу к огромному стакану ледяной воды. На заборах вдоль пляжа трепались афиши с именем русской певицы. Электрический поезд, шедший в Афины, наполнял праздный голубой день легким гулом, и все стихало опять. Сонные домишки Афин напоминали баварский городок. Желтые горы вдаль были чудесны. На Акрополе, среди мраморного мусора, дрожали на ветру бледные маки. Прямо среди улицы, как будто невзначай, начинались рельсы, стояли вагоны дачных поездов. В садах зрели апельсины. На пустыре великолепно росло несколько колонн; одна из них упала и сломалась в трех местах. Все это желтое, мраморное, разбитое уже переходило в ведение природы. Та же судьба ожидала в будущем новую до поры до времени гостиницу, где жил Мартын.

И, стоя с Аллой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далеком, прекрасном краю, – какая приправа к влюбленности, какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрепанной женщиной: яркую юбку то швырял, то прижимал ей к коленям ветер, наполнявший когда-то парус Улисса. Однажды, блуждая с Мартыном по неровным пескам, она оступилась, Мартын ее поддержал, она поглядела через плечо на высоко поднятую каблук вверх подошву, пошла, оступилась снова, и он, наконец решившись, впился в ее полураскрытые губы и во время этого долгого, не очень ловкого объятия едва не потерял равновесия, она тоже пошатнулась, высвободилась и со смехом сказала, что он целуется слишком мокро, надо подучиться. Мартын ощущал в ногах возмутительную дрожь, сердце колотилось, он злился на себя за это волнение, напоминавшее минуту после школьной потасовки, когда товарищи восклицали: «Фу, как ты побледнел!» Но первый в его жизни поцелуй – замуренный, глубокий, с каким-то тонким трепыханием на дне, происхождение которого он не сразу понял, был так хорош, так щедро отвечал на предчувствия, что недовольство собой вскоре развеялось, и пустынный ветренный день прошел в повторениях и улучшениях поцелуя, а вечером Мартын был совершенно разбит, словно таскал бревна. Когда же Алла в сопровождении мужа вошла в столовую, где он и мать уже чистили апельсины, села за соседний столик, проворно развернула конус салфетки и, с легким взлетом рук, уронила ее к себе на колени, после чего придвинулась со стулом, – Мартын медленно запунцовел и долго не решался встретиться с нею глазами, а когда наконец встретился, то в ее взгляде не нашел ответного смущения.

Жадное, необузданное воображение Мартына не могло бы ладить с целомудрием. Мартын не совсем был чист. Мысли, кои зовутся «дурными», донимали его в течение последних двух-трех лет, и он им не очень противился. Вначале они жили отдельно от его ранней влюбчивости. Когда, в памятную петербургскую зиму, он, после домашнего спектакля, накрашенный, с подведенными бровями, в белой косоворотке, заперся в чулане вдвоем с одноплеткой-кузиной, тоже накрашенной, в платочке до бровей, и смотрел на нее, жал ей сырые ладошки, Мартын живо чувствовал романтичность своего поведения, но возбужден им не был. Майн-Ридов герой, Морис Джеральд, остановив коня бок о бок с конем Луизы, обнял белокурую креолку за гибкий стан, и автор от себя восклицал: «Что может сравниться с таким лобзанием?» Подобные вещи уже куда больше волновали Мартына. И вообще – все несколько отдаленное, заповедное, достаточно расплывчатое, чтобы дать мечте работу по выяснению подробностей, – будь то портрет леди Гамильтон или бормотание пучеглазого однокашника о развратных домах, – особенно поражало его воображение. Теперь же туман редел, видимость улучшалась. Слишком поглощенный этим, он пренебрегал подлинными словами Аллы: «Я останусь для тебя сказкой. Я безумно чувственная. Ты меня никогда не забудешь, как, знаешь, забывают какой-нибудь прочитанный старый роман. И не надо, не надо рассказывать обо мне твоим будущим любованиям».

Софья же Дмитриевна была довольна и недовольна зараз. Когда ей кто-нибудь из знакомых ужимчиво докладывал: «А мы сегодня гуляли и видели, видели... шел с поэтессой под ручку, да-да, очень нежно... Совсем погиб ваш мальчик», – Софья Дмитриевна отвечала, что все это вполне натурально, такой уж возраст. Она гордилась ранним проявлением у Мартына мужественных страстей, однако скрыть от себя не могла, что Алла хоть милая, приветливая женщина, да уж слишком «скорая», как выражаются англичане, и, прощая сыну его ослепление, она не прощала Алле ее привлекательной вульгарности. К счастью, пребывание в Греции подходило к концу, – на днях должен был прийти из Швейцарии от Генриха Эдельвейса, двоюродного брата мужа, ответ на очень откровенное, с трудом написанное письмо – о смерти мужа, об иссякании средств. В свое время Генрих Эдельвейс посещал их в России, был с нею и с мужем дружен, любил племянника и всегда слыл честным и широким человеком. «Ты не помнишь, Мартын, когда последний раз у нас был дядя Генрих? Во всяком случае, до, – правда?» Это «до», всегда лишненное существительного, значило до размолвки, до разлуки с мужем, и Мартын тоже говорил: «до» или «после», ничего не уточняя. «Кажется, после», – ответил он, припомнив, как дядя Генрих явился на дачу, долго сидел у Софьи Дмитриевны и потом вышел с красными глазами, так как отличался слезоточивым нравом и плакал даже в кинематографе. «Конечно, какая я дура», – быстро сказала Софья Дмитриевна, вдруг восстановив его приезд, разговор о муже, увещевания, что надо помириться. «И ты его хорошо помнишь, правда? Он тебе всякий раз привозил что-нибудь». – «Последний раз комнатный телефон», – сказал Мартын и поморщился: телефон проводить было неинтересно, а когда его кто-то наконец провел из детской к матери в спальню, он действовал плохо, а через день и вовсе сдал, после чего был заброшен – вместе с другими, прежними, дядиными подарками, как, например, «Швейцарский Робинзон», прескучный после Робинзона настоящего, или маленькие товарные вагоны из жести, вызвавшие тайные слезы разочарования, так как Мартын любил только пассажирские. «Чего ты морщишься?» – спросила Софья Дмитриевна. Он объяснил, и она рассмеялась, сказала: «Правда, правда» – и задумалась о детстве Мартына, о вещах невозвратимых, неизъяснимых, в этой думе была щемящая прелесть, – и как все проходит, – Боже мой, – усы растут, ногти чистые, этот сиреневый галстучек, эта женщина... «Эта женщина очень, конечно, милая, – сказала Софья Дмитриевна, – но ты не думаешь, что она чуть-чуть слишком разбитная? Нельзя так терять голову. Скажи мне, – впрочем, нет, я не хочу ничего спрашивать... Только вот, говорят, что она в Петербурге была страшная flirt<sup>2</sup>. И неужели тебе нравятся ее стихи? Этот дамский демонизм? Она так аффективно читает. Неужели у вас дошло – ну, я не знаю, – до пожимания рук, что ли?» Мартын загадочно улыбнулся. «Наверно, ничего между вами и нет, – лукаво сказала Софья Дмитриевна, любуясь играющими, тоже лукавыми глазами сына. – Я уверена, что ничего нет. Ты еще не дорос». Мартын рассмеялся, она привлекла его и сочно, жадно поцеловала в щеку. Все это происходило у садового столика, на площадке перед гостиницей, рано утром, – и день обещал быть восхитительным, безоблачное небо было еще подернуто дымкой, как бывает покрыта листом папиросной бумаги необыкновенно яркая, глянцевиная картина на заглавной странице дорогого издания сказок. Мартын осторожно этот полупрозрачный лист отворачивал, и вот, по белым ступеням лестницы, чуть играя низкими бедрами, в ярко-синей юбке, по которой шло правильное волнистое колебание, по мере того как с рассчитанною неторопливостью то одна нога, то другая, вытянув лаковый носок, ступала вниз, – мерно раскачивая парчовой сумкой и уже улыбаясь, спускалась, на прямой пробор причесанная, ясноглазая, тонкошеяя женщина с крупными, черными серьгами, которые колебались тоже. Он встречал ее, целовал ей руку, отступал, и она, смеясь и музыкально картавя, здоровалась с Софьей Дмитриевной, которая сидела в плетеном кресле и курила толстую английскую папиросу, первую после утреннего кофе. «Вы так красиво спали, Алла Петровна,

<sup>2</sup> Кокетка (англ.).

что я не хотела вас будить», – говорила Софья Дмитриевна, держа на отлете длинный эмалевый мундштук и почему-то посматривая искоса на Мартына, который уже сидел на балюстраде и качал ногами. Алла, захлебываясь, принималась рассказывать, какие она видела ночью сны, – замечательные мраморные сны с древнегреческими жрецами, в способности сниться которых Софья Дмитриевна сильно сомневалась. И сыро блестел свежеполитый гравий.

Любопытство Мартына росло. Блуждания по пляжу, поцелуи, которые всякий мог подсмотреть, начинали казаться слишком растянутым предисловием; зато и желанная суть вызывала беспокойство: некоторые подробности Мартын представить себе не мог и боялся своей неопытности. Незабвенный день, когда Алла сказала, что она не деревянная, что так к ней прикасаться нельзя и что после обеда, когда муж будет прочно в городе, а Софья Дмитриевна закейфует у себя в комнате, она пойдет к Мартыну в номер, чтобы показать ему чьи-то стихи, этот день был как раз тот, который открылся разговором о дяде Генрихе и комнатном телефоне. Когда, уже в Швейцарии, дядя Генрих подарил Мартыну на рождение черную статуэтку (футболист, ведущий мяч), Мартын не мог понять, почему в то самое мгновение, как дядя поставил на стол эту ненужную вещь, ему представилось с потрясающей яркостью далекое, нежное фалерское утро и Алла, сходящая по лестнице. Сразу после обеда он пошел к себе и принялся ждать. Мыльную кисточку Черносвитова он спрятал за зеркало, – она почему-то мешала. Со двора доносился звон ведер, плеск воды, гортанная речь. На окне мягко набухла желтая занавеска, и солнечное пятно ширилось на полу. Мухи описывали не круги, а какие-то параллелепипеды и трапеции вокруг штанги лампы, изредка на нее садясь. Мартын волновался нестерпимо. Он снял пиджак и воротник, лег навзничь на кушетку, слушал, как бухает сердце. Когда раздались быстрые шаги и стук в дверь, у него что-то сорвалось под подушкой. «Видишь, целая пачка», – сказала Алла воровским шепотом, но Мартыну было не до стихов. «Какой дикий, Боже мой, какой дикий», – глухо приговаривала она, незаметно ему помогая. Мартын торопился, достигал счастье, достиг, и она, покрывая ему рот ладонью, бормотала: «Тише, тише... соседи...»

«Это, по крайней мере, вещица, которая останется у тебя навсегда, – ясным голосом сказал дядя Генрих и слегка откинулся, откровенно любуясь статуэткой. – В семнадцать лет человек уже должен думать об украшении своего будущего кабинета, и раз ты любишь английские игры...» – «Прелесть», – сказал Мартын, не желая дядю обидеть, и потрогал неподвижный шар у носка футболиста.

Дом был деревянный, кругом росли густые ели, туман скрывал горы; жаркая желтая Греция осталась действительно очень далеко. Но как живо еще было ощущение того гордого, праздничного дня: у меня есть любовница! Какой заговорщический вид был потом вечером у синей кушетки! Ложась спать, Черносвитов все так же скреб лопатки, принимал усталые позы, потом скрипел в темноте, просил не тяжелить воздуха, наконец, храпел, посвистывая носом, и Мартын думал: ах, если бы он знал... И вот однажды, когда мужу полагалось быть в городе, а в его и Мартыновой комнате, на кушетке, Алла уже поправляла платье, успев «заглянуть в рай», как она выражалась, меж тем как Мартын, вспотевший и растрепанный, искал запонку, оброненную в том же раю, – вдруг, сильно толкнув дверь, вошел Черносвитов и сказал: «Ишь ты где, матушка. Я, конечно, забыл захватить с собой письмо Спиридонова. Хорошенькое было бы дело». Алла провела ладонью по смятой юбке и спросила, наморщив лоб: «А он уже дал свою подпись?» – «Этот старый скот Бернштейн все воду возит, – сказал Черносвитов, роясь в чемодане. – Если они желают задерживать деньги, то пусть сами, скоты, выкручиваются». – «Главное, – сказала Алла, – не забудь об отсрочке. Ну что, нашел?» – «На катере к чортовой матери, – бормотал Черносвитов, перебирая какие-то конверты. – Оно должно быть. Не могло же оно запропасться, в самом деле». – «Если оно пропало, тогда вообще все пошло прахом», – сказала она недовольно. «Тянут, тянут, – бормотал Черносвитов, – вот и возись с ними. Опупеть можно. Я буду очень рад, если Спиридонов откажется». – «Да ты не вол-

нуйся так, найдется», – сказала Алла, но, видимо, и сама была встревожена. «Есть, слава Тебе, Господи!» – воскликнул Черносвитов и скользнул глазами по найденному листку, причем от внимания челюсть у него отвисла. «Не забудь сказать об отсрочке», – напомнила ему Алла. «Добже», – сказал Черносвитов и поспешно вышел.

Этот деловой разговор привел Мартына в некоторое недоумение. Ни муж, ни жена не притворялись, – они действительно совершенно забыли о его присутствии, погружившись в свои заботы. Алла, однако, сразу вернулась к прежнему настроению, посмеялась, что в Греции такие скверные дверные задвижки – сами выскакивают, – а на тревожный вопрос Мартына пожала плечами: «Ах, я уверяю тебя, он ничего не заметил». Ночью Мартын долго не мог уснуть и все с тем же недоумением прислушивался к самодовольному храпу. Когда, через три дня, он с матерью отплыл в Марсель, Черносвитовы приехали провожать в Пирей: они стояли на пристани, держась под руку, и Алла улыбалась и махала мимозовой веткой. Накануне, впрочем, она всплакнула.

## X

На нее, на эту заглавную картинку, оказавшуюся после снятия полупрозрачного листка грубоватой, подчеркнута яркой, Мартын снова опустил дымку, сквозь которую краски приобрели таинственную прелесть.

И на большом трансатлантическом пароходе, где все было чисто, отшлифованно, просторно, где был магазин туалетных вещей, и выставка картин, и аптека, и парикмахерская, и где по вечерам танцевали на палубе тустэп и фокстрот, – он с восторженной грустью думал о той милой женщине, о ее нежной, слегка впалой груди и ясных глазах, и о том, как непрочно похрустывала она в его объятиях, приговаривая: «Ай, сломаешь». Меж тем близка была Африка, на горизонте с севера появилась лиловая черта Сицилии, а затем пароход скользнул между Корсикой и Сардинией, и все эти узоры знойной суши, которая была где-то кругом, где-то близко, но проходила невидимкой, пленяли Мартына своим бесплотным присутствием. А по пути из Марселя в Швейцарию он как будто узнал любимые ночные огни на холмах, – и хотя это не был уже *train de luxe*<sup>3</sup>, а простой курьерский поезд, тряский, темный, грязный от угольной пыли, волшебство было тут как тут: эти огни и вопли во мраке... По дороге, в автомобиле, между Лозанной и дядиным домом, расположенным повыше в горах, Мартын, сидя рядом с шофером, изредка с улыбкой поворачивался к матери и дяде, которые оба были в больших автомобильных очках и одинаково держали на животах руки. Генрих Эдельвейс остался холост, носил толстые усы, и некоторые его интонации да манера возиться с зубочисткой или ковырялкой для ногтей напоминали Мартыну отца. При встрече с Софьей Дмитриевной на вокзале в Лозанне дядя Генрих разрыдался, рукой прикрыл лицо, но погодя, в ресторане, успокоился и на своем пышноватом французском языке заговорил о России, о своих прежних поездках туда. «Как хорошо, – сказал он Софье Дмитриевне, – как хорошо, что твои родители не дожили до этой страшной революции. Я помню превосходно старую княгиню, ее белые волосы... Как она любила бедного, бедного Сержа», – и при воспоминании о двоюродном брате у Генриха Эдельвейса опять налились глаза голубой слезой. «Да, моя мать его любила, это правда, – сказала Софья Дмитриевна, – но она вообще всех и все любила. А ты мне скажи, как ты находишь Мартына», – быстро продолжала она, пытаясь отвлечь Генриха от печальных тем, принимавших в его пушистых устах оттенок нестерпимой сентиментальности. «Похож, похож, – закивал Генрих. – Тот же большой лоб, прекрасные зубы...» – «Но правда он возмужал? – поспешно перебила Софья Дмитриевна. – И знаешь, у него уже были увлечения, страсти». Дядя Генрих перешел на политические темы. «Эта революция, – спросил он риторически, – как долго она может длиться? Да, этого никто не знает. Бедная и прекрасная Россия гибнет. Может быть, твердая рука диктатора положит конец эксцессам. Но многие прекрасные вещи, ваши земли, ваши опустошенные земли, ваш деревенский дом, сожженный сволочью, – всему этому следует сказать прощай». – «Сколько стоят лыжи?» – спросил Мартын. «Не знаю, – со вздохом ответил дядя Генрих. – Я никогда не развлекался этим английским спортом. И у тебя английский акцент. Это дурно. Мы переменим все это». – «Он многое перезабыл, – вступилась за сына Софья Дмитриевна. – Последние годы *Mlle Planche* уже не давала уроков». – «Умерла, – с чувством сказал дядя Генрих. – Еще одна смерть». – «Да нет, – улыбнулась Софья Дмитриевна. – Откуда ты взял? Она вышла замуж за финна и спокойно живет в Выборге». – «Во всяком случае, все это очень грустно, – сказал дядя Генрих. – Я так желал, чтобы когда-нибудь Серж с вами приехал сюда. Но никогда не имеешь того, о чем мечтаешь, и Бог один знает судьбу людей. Если вы утолили голод и наверное больше ничего не хотите, можем отправиться в путь».

<sup>3</sup> Поезд высшего класса (*фр.*).

Дорога была светлая, излучистая; справа поднималась скалистая стена с цветущими колючими кустами в трещинах, слева был обрыв, долина, где серповидной пеной, уступами, бежала вода; затем появились черные ели, они стояли тесным строем то на одном склоне, то на другом; окрест, незаметно передвигаясь, высились зеленоватые, в снеговых проплешинах, горы, из-за плеч этих гор смотрели другие, посерее, а совсем вдалеке поднимались горы лиловой гуашевой белизны, и эти были совершенно неподвижны, и небо над ними словно выщело по сравнению с ярко-синими просветами между верхушками черных елей, под которыми катился автомобиль. Вдруг, с непривычным еще чувством, Мартын вспомнил густую еловую опушку русского парка сквозь синее ромбовидное стекло на веранде, – а когда, разминая слегка звенящие ноги, с прозрачным гудом в голове, он вышел из автомобиля, его поразил запах земли и тающего снега, шероховатый свежий запах, и еловая красота дядинного дома. Стоял он особняком в полуверсте от деревни, и с верхнего балкона был один из тех дивных видов, которые прямо пугают своим воздушным совершенством, а в чистенькой уборной, где пахло смолой, густо синело в оконце опять это весеннее дачное небо, и кругом, в саду с голыми черными клумбами и цветущими яблонями в глубине, в еловом бору, сразу за садом, и на мягкой дороге, ведущей в деревню, была прохладная, веселая, что-то знающая тишина, и голова слегка кружилась, не то от этой тишины, не то от запахов, не то от новой, блаженной косности после трехчасовой езды.

В этом доме Мартын прожил до поздней осени. Предполагалось, что зимой он поступит в Женевский университет; однако, после живой переписки с друзьями в Англии, Софья Дмитриевна определила его в Кембридж. Дядя Генрих не сразу с этим примирился, – он англичан недолюбливал, холодный коварный народ. Зато мысль об издержках, которых потребует знаменитый университет, не только его не огорчала, а, напротив, была соблазнительна. Любя экономить по мелочам, в левой руке зажимая грош, он правой охотно выписывал крупные чеки, – особенно когда расход являлся почетным. Иногда он трогательно играл самодура, хряпал ладонью по столу, раздувал ус и кричал: «Если я это делаю, то потому, что мне приятно!» И Софья Дмитриевна со вздохом натягивала на кисть новые часики-браслет из Женевы, а Генрих, размякнув, лез в карман, вытягивал объемистый платок с голубой каемкой, встряхивал его и, скрывая набежавшие слезы, трубил раз, трубил два, затем приглаживал усы – вправо и влево.

С наступлением лета погнали крестами меченных овец еще выше в горы. Неизвестно откуда, с какой стороны, начинал доноситься журчащий металлический звон, плыл, обволакивал, вызывал у слушателя странную щекотку во рту, и вот, в облаке пыли, серой, курчавой густыней, лились, мягко толкаясь, овечьи спины в переменчивой и подвижной тесноте, и влажный, полый, улаждающий все чувства звон колокольцев все рос, наливался, так таинственно, словно звучала самая пыль, клубящаяся над овцами; порою одна выбивалась из стада, пробежала трусцой, и лохматая собака молча ее отесняла в стадо, и сзади шел, мягко ступая, пастух, – и звон колокольцев чуть менялся в тембре, становился опять глуше, тише, но долго еще стоял в воздухе, вместе с летучей пылью. «Ах, как славно», – шептал про себя Мартын, дослушав звон до конца, и продолжал путь, любимую свою прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинками в еловой глуши. Бор внезапно редел, появлялись крутые сочные луга, каменистая стежка спускалась между живых изгородей; иногда навстречу поднималась корова с мокрой розовой мордой, останавливалась, похлестывая хвостом, и, качнув головой вбок, проходила, и следом за ней шла проворная старушка с дубинкой и кидала на Мартына недоброжелательный взгляд. А ниже, за тополями и кленами, белела большая гостиница, хозяин которой был в отдаленном родстве с Эдельвейсом.

За это лето Мартын еще больше окреп, увеличился размах плеч, и голос приобрел ровный и низкий звук. Меж тем на душе у него было сумбурно, и чувство, не совсем понятное, возбуждали такие вещи, как дачная прохлада в комнатах, столь отчетливая после наружной жары, толстый шмель, с обиженным жудом стучащий по потолку, еловые лапы на синеве неба

или крепкий коричневый боровик, найденный на опушке. Будущая поездка в Англию волновала и радовала его. Воспоминание об Алле Черносвитовой достигло окончательного совершенства, и он себе говорил, что недостаточно ценил фалерское счастье. Жажда, которую та, утоляя, только обострила, так мучила его в эти горные летние дни, что по ночам он долго не мог забыться, представляя себе, среди многих приключений, всех тех женщин, которые ждут его в светающих городах, и, случалось, повторял вслух какое-нибудь женское имя – Изабелла, Нина, Маргарита, – еще холодное, нежилое имя, пустой гулкой дом, куда медлит вселиться хозяйка, – и гадал, какое из этих имен станет вдруг живым, столь живым и естественным, что уже никогда нельзя будет произнести его так таинственно, как сейчас. А по утрам приходила из деревни пособлять старой горничной племянница ее Мария, семнадцатилетняя девочка, очень тихая и миловидная, с темно-розовыми щеками и туго закрученными вокруг головы желтыми косами. Бывало так, что Мартын в саду, а она вдруг распахивает верхнее окошко и, отряхнув тряпку, замирает, глядя, быть может, на овальные тени облаков, скользящие по склонам гор; затем проводит тылом руки по виску и медленно отворачивается. Мартын понимался в комнаты, определял по сквознякам, где происходит уборка, и среди блеска мокрых половиц Мария, задумавшись, стояла на коленях: он видел ее со спины, ее черные шерстяные чулки и зеленое, в горошинку, платье. Она никогда не смотрела на Мартына, только раз – и это было событие, – проходя мимо с пустым ведром, неопределенно и нежно улыбнулась, однако не ему, а цыплятам. Он упорно давал себе обет заговорить с ней, да потихоньку обнять, но однажды, после ее ухода, Софья Дмитриевна потянула носом, поморщилась и поспешно открыла все окна, – и Мартын проникся к Марии досадливым отвращением и только очень постепенно, по мере ее следующих далеких появлений – в раскрывшемся окне или в просвете листвы близ колодца, – опять начал поддаваться очарованию, но уже боялся приблизиться. Так что-то счастливое, томное его издали заманивало, но было обращено не к нему. Как-то раз, забравшись высоко в горы, он сел с ногами на большой лобатый камень, и снизу, вьющейся тропой, прошло стадо, музыкально и грустно булькая, а затем двое, оборванный, веселый мужчина и девушка, которая, все посмеиваясь, вязала на ходу чулок. Они прошли, не взглянув на Мартына, словно был он бесплотен, и он долго следил за ними: мужчина, не меняя шага, перекинул руку через плечо спутницы, и по ее затылку видно было, что она все вяжет, вяжет, неторопливо спускаясь в другую долину. А не то около теннисной площадки перед гостиницей появлялись, крича, белеясь платьями и отмахиваясь ракетками от оводов, барышни с голыми руками, но, как только они начинали играть – какая топорность, какая беспомощность, – тем более что сам Мартын играл превосходно, разбивал в лоск любого молодого аргентинца из гостиницы, ибо сызмала усвоил лад, необходимый для наслаждения природой шара, согласованность всех членов, так что каждый удар по белому мячу, начинаясь с дугового налета, еще длится после звучной вспышки ракетных струн, проходя по мышцам руки до самого плеча, как бы замыкая плавный круг, из которого так же плавно родится следующий. В жаркий августовский день возник на площадке профессиональный игрок, Боб Китсон из Ниццы, и предложил Мартыну партию. Знакомая глупая дрожь – отместка слишком живого воображения. Все же Мартын начал хорошо, то прихлопывая мяч на излет у самой сетки, то с задней черты мощно лупя в отдаленнейший угол. Кругом стояли и смотрели, – это было приятно. Горело лицо, и до безумия хотелось пить. Подавая, обрушиваясь на мяч и сразу превращая наклон тела в быстрый пробег к сетке, Мартын собирался взять решительную игру. Но профессионал, долговязый, хладнокровный юноша в очках, игравший точно с лентой, вдруг проснулся и пятью молниевидными ударами сравнял положение. Мартын почувствовал усталость и беспокойство. Солнце – в глаза. Вылезает из-под пояса рубашка. Если Китсон возьмет этот пункт – все кончено. Тот, из неудобного угла, дал свечку, и Мартын, отбегая кэкуоком, приготовился мяч убить. Пока он низвергал ракету, ему мгновенно померещился проигрыш, злорадство обыч-

ных его партнеров. Увы, мяч тупо плюхнул в сетку. «Не повезло», – бодро сказал Китсон, и Мартын ослабилась, героически преодолевая досаду.

XII<sup>4</sup>

Возвращаясь домой, он переигрывал в уме все удары, обращал поражение в победу и качал головой: трудно, трудно изловить счастье. Скрытые листвой, журчали ручьи, с мокрых мест на дороге вспархивали голубые бабочки, в кустах возились птицы, – все было до грусти солнечно и беспечно. Вечером, после обеда, сидели, как всегда, в гостиной, дверь была широко открыта на террасу, и, так как испортилось электричество, горели в канделябрах свечи: изредка пламя их наклонялось, и тогда из-под всех кресел вытягивались черные тени. Мартын, копая в носу, читал томик Мопассана со старомодными иллюстрациями: Бель-Ами, усатый, в стоячем воротничке, обнажающий с ловкостью камеристки стыдливую, широкобедрую женщину. Дядя Генрих, отложив газету и подбоченясь, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напирала с террасы теплая, черная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. «Последний раз он у меня вышел в России, – проговорила Софья Дмитриевна. – Он вообще выходит очень редко». Расставя пальцы, она собрала рассыпанные по столу карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул.

Наскуча книгой, Мартын потянулся и вышел на террасу. Было очень темно, пахло сыростью и ночными цветами. Сорвалась звезда, и, конечно, как это обычно бывает, – не совсем в поле зрения, а сбоку, так что глаз уловил лишь трепет, мгновенную, беззвучную перемену в небе. Очертания гор были неразборчивы, и в складках мрака дрожало там и сям по два, по три огонька. «Путешествие», – вполголоса произнес Мартын, и долго повторял это слово, пока из него не выжал всякий смысл, и тогда он отложил длинную, пушистую словесную шкурку, и глядь – через минуту слово было опять живое. «Звезда. Туман. Бархат, бархат», – отчетливо произносил он и все удивлялся, как непрочно смысл держится в слове. И в какую даль этот человек забрался, какие уже перевидал страны, и что он делает тут, ночью, в горах, – и отчего все в мире так странно, так волнительно. «Волнительно», – повторил громко Мартын и остался словом доволен. Опять покатила звезда. Он уставился глазами в небо, как некогда, когда в коляске, темной лесной дорогой, возвращались восвояси из имения соседа, и совсем маленький, размаянный, готовый вот-вот уснуть, Мартын откидывал голову, смотрел на небесную реку между древесных клубьев, по которой тихо плыл. Он подумал: где еще в жизни будет так – как тогда, как сейчас – смотреть на ночное небо, – на какой пристани, на какой станции, на каких площадях? Чувство богатого одиночества, которое он часто испытывал среди толпы, блаженное чувство, когда себе говоришь: «Вот, никто из этих людей, занятых своим делом, не знает, кто я, откуда, о чем сейчас думаю», – это чувство было необходимо для полного счастья, и Мартын с замиранием, с восторгом себе представлял, как – совершенно один, в чужом городе, в Лондоне, скажем, – будет бродить ночью по неизвестным улицам. Он видел черные кэбы, хлюпающие в тумане, полицейского в черном блестящем плаще, огни на Темзе, – и другие образы из английских книг. Оставив багаж на вокзале, он шел мимо бесчисленных освещенных Дрюсов и, волнуясь, искал Изабеллу, Нину, Маргариту, кого-нибудь, чьим именем назвать эту ночь. А она, – за кого она его примет? За художника, за моряка, за джентльмена-взломщика? От денег она откажется, будет нежна, поутру не захочет отпустить. Но как улицы туманны, как многолюдны, как трудно найти... И хотя многое выглядело иначе, хотя кэбы уже повымерли, кое-что он все же узнал, когда осенним вечером вышел налегке с вокзала Виктории, узнал темный, маслянистый воздух, мокрый плащ полицейского, отблески, шлепающие звуки. На вокзале он отлично вымылся под душем в веселенькой чистой каморке, вытерся теплым, мохнатым полотенцем, которое принес краснощекий служитель, надел чистое белье, лучший

<sup>4</sup> В романе нарушена нумерация глав – глава XI отсутствует.

костюм, оставил оба чемодана на хранении и теперь был горд, что так толково устроился. Он едва чувствовал дорожную усталость: была только звонкость, волнение. Громадные автобусы яростно и тяжело разбрызгивали озера на асфальте; световые рекламы взбегали и рассыпались по фронтонам багровых домов. Он встречал, обгонял женщин, оборачивался, – но чем красивее было лицо, тем труднее было решиться. Светлых, привлекательных кафе, как в Афинах или в Лозанне, тут не было, а в баре, где он выпил стакан пива, оказались одни мужчины, воспаленные, лупоглазые, с красными жилками на белках. Мало-помалу им овладевало смутное раздражение: русская семья, у которой по письменному сговору он должен был на неделю остановиться, вот сейчас ждет его, беспокоится. Он подумал, не сесть ли спокойно в таксомотор, не отказаться ли от этой ночи. Но тут же ему стало стыдно его недоверчивости к ней, – как напряженно он о ней мечтал нынче на рассвете, глядя в окно поезда на равнины, на розовое холодное небо, на черный силуэт ветряной мельницы. «Малодушие и предательство», – тихо сказал Мартын. Он заметил, что во второй раз проходит той же улицей, узнал ее по витрине, полной жемчужных ожерелий. Он стал и мельком проверил давнее свое отвращение к жемчугам: устричные геморроиды, круглявые, с нездоровым отливом. Рядом с ним остановилась женщина под зонтиком. Мартын искоса посмотрел: худенькая, черный костюм, сияющая булавка в шляпе. Она повернула лицо, улыбнулась и, выпучив губы, издала маленький звук вроде удлиненного «у». Мартын увидел, как в ее глазах бегут огни, переливы, блеск дождя, и хриплым шепотом пожелал ей доброго вечера.

Как только они оказались в темноте таксомотора, он обнял ее, шалея от ощущения ее гибкой худобы. Она закрывалась руками и хохотала. Потом, в номере, когда он неловко вынул бумажник, она сказала: «Нет, нет, если хотите, завтра поведете меня обедать в шикарное место». Она спросила, кто он, не француз ли, и стала по его просьбе гадать: бельгиец? датчанин? голландец? И не поверила, когда он сказал: русский. Далее он намекнул ей, что зарабатывает [на] жизнь карточной игрой на больших пароходах, поведал ей о своих странствиях, кое-что расцвел, кое-что прибавил и, описывая никогда им не виданный Неаполь, глядел с любовью на ее голые детские плечи, на стриженую русую голову, и был совершенно счастлив. Рано утром, пока он мирно спал, она быстро оделась и ушла, выкрав из его бумажника десять фунтов. «Утро после дебоша», – с улыбкой подумал Мартын, захлопнув бумажник, который поднял с полу. Он облился из кувшина, устроив потоп, и все улыбался, вспоминая прелестную ночь. Было немного жалко, что она так глупо ушла, что больше никогда он ее не встретит. А звали ее Бэсс. Когда же он вышел из гостиницы и пошел по утренним просторным улицам, то ему хотелось прыгать и петь от счастья, и, чтобы как-нибудь облегчить душу, он взобрался на лесенку, прислоненную к фонарю, из-за чего имел долгое и смешное объяснение с пожилым прохожим, грозившим снизу тростью.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.